
Владимир Шпаков

Люда

Рассказ

1

От той жизни ничего не осталось — ни намека, ни предметных деталей, лишь воспоминания, худо-бедно оживлявшие былое. Чаще всего вспоминался плот, и он сам на склизких досках, что разъезжаются под ногами. Доски связаны на скорую руку, прогалы между ними все шире, и он вот-вот ухнет в холодную черную воду. И берег вроде близко, да не доплыть: шест погружается так, что рукава мокрые, — а дна нет! Нога соскальзывает, он проваливается по колено, но пока выбирается. А когда плот распадётся?! Он озирает пустынный берег, где, кроме кустарников и пожухлой травы, — никого! А значит, кричать бессмысленно (хотя очень хочется!). Погрузив в воду шест, он опять нащупывает пустоту, и уже помимо воли из груди вырывается: «А-аа!» Помнилось, кричал тонким голосом, это был визг, привлёкший кого-то в сером пальто и белом берете. И вот этот кто-то бежит к берегу, скидывает пальто, берет, и по плечам рассыпаются светлые волосы. Волосы удивили. Даже разочаровали, ведь их обладательница вряд ли могла спасти: требовался сильный и храбрый мужчина, да еще умеющий плавать. Он-то плавать не умеет! И та, что остановилась у кромки воды, не умеет, иначе давно прыгнула бы в пруд! Он пытается грести шестом, поскользывается, чтобы через секунду уйти под воду и, вынырнув, во все горло заорать «Спасите!».

Он не увидит, как та, с волосами, ринется в воду; зато почувствует, как его схватят за воротник, вытащат на берег и, не дав отдышаться, пнут: «Беги!» Он подчинится и, дрожа от холода и размазывая по лицу слезы, побежит к дому. Она будет бежать сзади, подталкивать в спину, они ввалятся в сени, и тогда впервые прозвучит: «Люда». А может, «Людка», он был в таком состоянии, что не запомнил. Потом это имя будет произноситься неоднократно, оно вроде как поселится в доме, сделается частью семейного бытования, но в то апрельское утро для него прозвучит впервые.

Люда навсегда останется в той жизни, что исчезла, погребенная под слоями асфальта и фундаментами многоэтажек. И поселок, где жил с родителями, исчезнет; и пруд, на котором едва не утонул; и корова, и дед с его пасекой — все погрузится в пучину времени. Останется он, хотя совмещать себя с пацаном, что метался по связанному на живую нитку плоту, с каждым годом будет труднее. Даже имя — Севка —

Шпаков Владимир Михайлович родился в Брянске 10.01.1960—18.10.2020, Санкт-Петербург). Прозаик, драматург, критик. Автор восьми книг прозы, ряда пьес и множества литературно-критических статей.

Предыдущая прозаическая публикация в «ДН» — 2019, № 6.

будет звучать чуждо, его лет сорок, наверное, так не называют, а потому надо делать усилие, чтобы с ним совпасть...

Итак, сени. И дед Яша, что трясет бородой, всплескивая руками: где ж он вымок, Людка?! Да, именно так он ее назвал, а следом: да и ты вся мокрая! А ну в хату бегом, к печке! И одежду скидавайте! И вот Севка уже сидит в телогрейке, пахнувшей воском и медом, — это дедова одежда, он в ней за ульями ухаживает — и прижимается к горячей печи. А Люда не спешит разоблачиться, хотя с нее течет на дощатый пол, на котором образуются лужицы.

— Сказал же — скидавай! Кого стесняешься — меня, старика?! Или этого шкета?!

Прибежавший с тулупом дед грозит Севке костистым кулачком.

— У-у, ирод! Все батьке расскажу, получишь сегодня!

Наконец, Люда берет тулуп, чтобы скрыться за отделяющей кухню занавеской. Спустя минуту она возвращается, закутанная по самый подбородок, только мокрые волосы распущены поверх воротника. Люда присаживается рядом с Севкой.

— Что ж ты на пруд отправился? — говорит укоризненно. — Там ведь лед только сошел...

— Ирод, как есть ирод! — кипятится дед. — На прошлой неделе чуть под поезд не попал! Бегаёт на железную дорогу, гвозди с пятаками на рельсы подкладывает!

Далее перечисляют *подвиги* — так в семействе называют Севкины приключения. Как заблудился в лесу, с собаками искать пришлось; как едва не свалился в колодезь; как пчел из улья выпустил, стервец — долго перечисляют, со вкусом. А Севку клонит в сон. Он угрелся, холодная черная вода, в которой можно пропасть навсегда, — уже забыта, и он отдается наплывающим видениям. Он видит плот, а на нем — растерянная и беспомощная Люда, она мечется, поскальзываясь на склизких досках. Плот вот-вот развалится, и девушка ухнет под воду. Но ведь на берегу — Севка, он не позволит! Заметив его, Люда умоляюще складывает руки на груди: «Севка, спаси меня!» Только его не надо упрашивать — он ведь храбрый и сильный, к тому же прекрасно плавает. Он решительно входит в воду, мощно гребет — саженками, как взрослый, и вот уже видит перед собой большие серые глаза, исполненные ужаса. «Не бойся, Люда!» — говорит Севка и подхватывает ее на руки. Грести в таком положении нельзя (руки-то заняты!), да только и не требуется грести: под ногами — дно. Он не понимает: то ли пруд обмелел, то ли он превратился в великана, которому море по колено. Он направляется к берегу, где выстроились в ряд отец, мать, дядя Коля с тетей Лизой, дед Яша — и все громко хлопают в ладоши! Ай да Севка, ну молодец!

Насладиться триумфом мешает толчок в бок.

— Просыпайся давай... — бормочет дед. — Высохла твоя одежда...

Люды рядом нет, осталось лишь мокрое пятно там, где она сидела. Севка берет в охапку одежду, еще теплую после просушки на печи, и, вздохнув (жаль, что жизнь — не сон!), отправляется в комнату.

Что было потом? Отец с ремнем, как водится, и дед, не дающий высечь внука. Дед ругает Севку почему зря, то и дело сует под нос свой кулачок, но если назревает серьезная экзекуция — защищает. Вот и теперь встает в дверях «светелки» (так называется комната деда, где за сундуком прячется Севка) и вцепляется в дверные косяки.

— Охолони! — слышно из убежища. — Даже блудный сын прощения заслужил, а этот — несмышлениш еще!

— Да хватит притчи свои вспоминать! Он же утонуть мог запросто!

— Так не утонул же!

— Ну да, спасибо Людке...

Заглядывая через дедово плечо, отец кричит:

— Эй, ты тут?! Еще такое повторится — отделаю так, что неделю не сядешь!

Плотогон, мать твою!

Тут же начинает работу телесная память, даже ягодицы щиплет, когда вспоминается прошлая экзекуция. Постепенно буйство затухает. С работы возвращается мать, ей, конечно, обо всем докладывают, но ругать второй (а по сути — третий) раз не принято: вытащив Севку из-за сундука, та ограничивается внушением. Потом возвращаются тетя Лиза и дядя Коля, большой, шумный, пахнувший чем-то жженым. Тетя Лиза сразу усаживается на табуретку, расстегивает пальто и, выпятив тугой округлый живот, обтянутый цветастым ситцем, отдыхает. А дядя Коля, выслушав про очередной *подвиг*, громко хохочет:

— Моряком станет! Да, Севка? Капитаном дальнего плавания! А когда Лизка родит тебе братца, он будет на твоём корабле штурманом!

— А может, я дочку рожу? — не соглашается тетя Лиза.

— Нет уж, сына давай! На пару будут плоты гонять!

— Типун тебе на язык... — бормочет беременная (это слово Севка уже давно выучил) и, со вздохом поднявшись, удаляется в свою «светелку». Дедов дом поделен на комнаты, в них ютятся члены большого семейства. Отец с матерью и Севкой занимают комнату побольше, с двумя окнами, у дяди Коли с супругой жилплощадь скромнее, с одним окном, выходящим к сараю. Перегородки между комнатами хлипкие, слышен каждый чих, а особенно храп дяди Коли. Мать из-за храпа иногда встает среди ночи, идет шептаться с тетей Лизой, после чего за стенкой скрипят пружины, и слышится: «Пфу-у!» Значит, дядю Колю перевернули на бок, и час-другой тишины обеспечен.

Наутро кто-нибудь (мать или тетя Лиза) обязательно пеняет дяде Коле, мол, опять храпака давал. А тот разводит руками:

— У меня легкие хрипят! Я ж сталевар, да еще курю с малых лет!

— Ага, при Севке почаще о куреве вспоминай! Ко всем его подвигам не хватало, чтоб окурки начал собирать!

Севка помалкивает о том, что пробовал курить, причем не окуроч, а «Беломор» из дяди Колиной пачки. Удовольствия, правда, не получил — решил: это не для него. Он и самогонку пригубливал, но тут вообще удовольствия ноль — брр, вонючка горькая! А вот взрослые ее любят, дядя Коля даже называет ласково: *самогоночка*. Сегодня на стол опять выставляют бутылку плюс щи в большом чугушке, квашеную капусту с солеными огурцами и холодец — все это достают из подпола, где во влажноватой прохладе хранятся съестные запасы. Женщины возражают против выпивки, но не сильно — завтра выходной, по сто грамм можно.

Севку кормят первого, суют на десерт блюдо с медом и отправляют в комнату. Он не спорит, провинился, теперь придется не за столом сидеть со всеми, а торчать у двери, подслушивая взрослые разговоры. Сегодня интересно вдвойне, ведь главный герой застольной беседы — Севка, то есть его приключение на пруду. Отец, как всегда, негодует, мать его успокаивает, дядя Коля посмеивается. Лишь тетя Лиза молчит, наверное, гладит свой обтянутый ситцем живот. Она все время его гладит, будто там и впрямь находится будущий двоюродный (или будущая двоюродная) Севки. Почему-то он не верит в это, по его разумению, детей раздают в роддомах. Вызывают родителей и говорят: вот ваш ребенок, берите и воспитывайте! И тут, хочешь не хочешь, а приходится брать, даже если ребенок — *наказание*. Севку именно так называют: ты, мол, наше наказание, хотя наказывают не их, а его, причем сильно.

— Ладно, давайте за Людку! — слышится голос дяди Коли. — Героическая девка, ей-богу!

— Хорошая! — говорит мать. — И в кого такая выросла? Там же семейка, я вам скажу...

— Отблагодарить хотел, медку дать... — встревает дребезжащий голос деда. — Так пока в подпол слазил, она подхватила — и уткнула!

— Плотогона нашего завтра пошли, — говорит отец. — Пусть отнесет.

«Ага, — думает Севка. — Значит, завтра не посадят под замок, а разрешат сходить на соседнюю улицу!» Он бывал на этой улице (где он только не бывал!) и даже видел, кажется, Людин дом с покосившимся штакетником. И ее видел несколько раз, просто внимания не обращал — она же взрослая, а у взрослых своя жизнь, не очень ему интересная. Вот чего опять про квартиры взялись болтать? Как выпьют, один разговор: что отец с матерью получают двухкомнатную, потому что у них Севка, а дядя Коля с тетей Лизой — лишь однокомнатную, ведь их всего двое. Но если тетя Лиза успеет родить (то есть получить в роддоме ребенка), им тоже дадут двухкомнатную; и когда только ее, тетю Лизу, отправят в декрет?! Севка не понимает про «декрет», он скучает. И, уже зевая, вполуха слушает привычные жалобы, мол, надоело к колодцу таскаться, хоть бы водопровод в поселок провели; и газа до сих пор нет; а на колку дров не хватает ни сил, ни времени — мы же работаем! Дед возражает: я сам дрова колю! — но женщины берут верх, на них ведь и дойка коровы, и стирка, а воду греть в печи приходится, как в деревне!

А чем плохо в их деревне? То есть, в их поселке? Тут очень даже хорошо! Пойдешь направо — упруешься в лес, где земляника, черника, а еще сыроежки, их и впрямь можно есть сырыми (проверено). Если же пройти по тропинке сквозь лесную чащу, выйдешь к железнодорожной насыпи из щебня. Для рогатки он крупноват, зато им можно швырять в воробьев и галок, сидящих на проводах, или отбиваться от братьев Иванцовых, что живут через два дома и все время норовят дать пинка или подзатыльника. Хотя интереснее всего — плющить под колесами гвозди и монеты. Севка при любой возможности тырит из дедовых запасов большие гвозди, случается, и пяточок занывает. Трофеи надо умудриться выложить на рельсы, да так, чтобы обходчики или машинисты не заметили. Обычно Севка притаивается в подлеске, что тянется вдоль насыпи, ждет, и когда вдаль слышится гудок, быстро вскарабкивается на насыпь, чтобы торопливо разложить металлические штуковины. Тепловоза не видно, он за поворотом, значит, надо быстрее смыться, иначе машинисты тормознут состав. Теперь спрятаться, выждать, когда многотонный товарняк прогрехочет над головой, и — опять к насыпи, собирать расплющенные и горячие (они всегда — горячие!) гвозди с пятаками. Гвозди превращались в подобие ножика — Севка обматывал часть полученного «клинка» изолентой (вроде как рукоятка) и, при нужде, грозил Иванцовым, мол, только суньтесь! Пятаки же в дело не пустишь, просто было интересно наблюдать, как небольшая монета превращалась в большой и тонкий медный кругляш.

Если пойти налево, попадешь на пруд, где Севка сегодня едва не утонул. Жаль, сейчас не лето, когда можно плескаться на мелководье у берега или рвать камыши, чьи заросли тянутся в дальней, самой узкой части водоема. А еще там можно ловить сачком тритонов и головастика. Родители такую ловлю не одобряют, говорят, сачок — для бабочек и кузнечиков, только Севке нравятся тритоны. Посадишь такого в банку, и он там плавает, как ручной... Но самое большое удовольствие — распугивать рыбу, которую удят Иванцовы. Схоронившись в камышах, Севка пуляет железнодорожной щебенкой по поплавам; братья озираются, не понимая — кто вредитель?! — но Севка надежно спрятан в густых зарослях.

А можно ни налево, ни направо не ходить, просто отправиться в сарай, что одновременно — хлев. Входишь туда со света, кажется — темно, но вскоре глаза привыкают, различая большую рогатую голову и огромные блестящие глаза коровы Машки. Та все время что-то жует. И хотя сена в сарае навалом — жуй не хочу, Севка всегда имеет при себе горбушку, которую скармливает с руки. Большие мокрые губы и шершавый язык Машки елозят по ладони, приятно ее щекоча, и Севке от того очень хорошо. Машка — его любимица, летом он всегда напрашивается идти вместе с дедом на пастбище, чтобы привести ее домой. Ранним утром, когда пастух Кирюха собирает поселковых коров на выпас, Севка еще спит, но вечером он как штык, шагает рядом и обязательно просит: давай я поведу! Дед бурчит, мол, скотина свой дом завсегда

найдет, только Севке, опять же, приятно вести за веревку большое и послушное животное. Еще из животных в сарае — две свиньи, которых Севка не жалуется. Хрюкают все время, воняют, нет, этих кормить он не любит. А вот к пчелам ему вообще приближаться запрещено. На просторном приусадебном участке среди яблонь и теплиц расставлена дюжина маленьких домиков, в них живут жужжащие насекомые. Севка думал, что прямо там, в ульях стоят банки, куда пчелы по капельке приносят пахучий сладкий мед. Хотел помочь деду, приподнял крышку улья, чтобы банку забрать, и тут такое началось...

Севкины полусонные мысли прерывает реплика матери:

— Что ж летом-то делать? Яков Петрович старый, не угонится за сорванцом, так что опять будет болтаться, где попало...

— Может, кто за ним приглядит? — раздаётся голос тети Лизы. — Если в декрет отпустят, я сама смогу. Но вдруг раньше рожу?

Слышен смех дядя Коли:

— С Севкой — точно родишь до срока!

«Не надо никакого пригляда! — хочется заявить. — Обойдусь!» Только кто его, шкета, слушать будет? С этой обидой Севка и укладывается в кровать, чтобы тут же провалиться в сон.

Утром он отправляется к дому с покосившимся штакетником. Банка с медом обернута газетой и уложена в сетчатую авоську — с ней он тащится через поселок, с тревогой озираясь: вдруг заклятые враги объявятся? Так-то он их не боится, но тяжелая банка и убежать не позволит, и должного отпора не дашь. По счастью, Иванцовы еще дрыхнут. Севка приближается к нужному дому, поднимается на крыльцо, плохо соображая: как выразить благодарность? Мать сказала: «Поблагодари», а какими словами — не объяснила. На стук долго никто не выходит, затем в дверях возникает мужик с черной взлохмаченной бородой, в кальсонах и рубашке.

— Тут это... — бормочет Севка. — Мед, значит... Дедушка просил передать.

— Какой дедушка?! — недоумевает мужик, — Ты, вообще, чей?!

— Это деда Якова внучок... — говорит тетка в халате и платке, появляясь следом.

В ее взгляде читается удивление:

— С чего подарок-то?! Чем заслужили?!

— Это для Люды...

— Ах, для Лю-юды! — протяжно произносит мужик, надо понимать — Людин папаша. Он оборачивается и кричит вглубь дома:

— Эй, сюда иди! Тут тебе подарок незнамо за что!

Севка мог бы рассказать, за что, расписать в красках сцену героического спасения и сказать, что Люде вообще медаль полагается! Но он потерялся — впервые исполняет столь ответственное поручение. Да и сам-то кем выглядит? Сопляком выглядит, что даже плавать не выучился и может только орать: «Спасите, тону!»

— Зачем вы... — смущается Люда, появляясь на крыльце. — Лишнее это...

Ее светлые волосы не похожи на вчерашние, висящие мокрыми паклями, они высохли и пушатся под весенним ветерком.

— Сладенькое любишь? — криво усмехается папаша, в упор глядя на дочь. — Любишь-любишь, сучка...

Изменившись в лице, Люда убегает в дом. А тетка (мамаша?), наконец, забирает банку.

— Ладно, давай, если принес!

— Лучше бы самогону притащил, — продолжает усмехаться папаша. — Яков-то гонит? — он подмигивает. — Гонит-гонит, я знаю!

Исполнив поручение, Севка вприпрыжку несется обратно. Странные эти взрослые, и разговоры у них — странные. Почему Люда должна любить сладенькое, она что — маленькая, как Севка? И почему сучка? Дед таким словом называл собаку Найдю, что

издохла прошлой осенью. Севка весь изревелся, он любил Найду еще больше коровы, но то животное (пусть и любимое), а то человек!

Он бежит к дому, хотя знает, что не добежит — свернет куда-нибудь, ведь жизнь такая интересная! Вот что будет, если надеть на голову пустую авоську? Сетчатая, она позволяет все видеть, самого же Севку делает неузнаваемым, будто он Фантомас. На прошлых выходных он уговорил родителей отвести его на популярный среди пацанов фильм, и теперь мечтал сделаться таким же могущественным, и чтоб никто не узнавал. Иванцовы улепетывали бы от него, еще издали завидев, только пятки бы сверкали! А тогда — натянем сетку на голову и зайдем в магазин!

Яркие детали всплывают сами, будто рыба-голавль на пруду, что плавает на поверхности. Но есть и рыбы вроде леща, попробуй его вытащить с глубины! Вот почему, например, авоська помнится, а эпизод в магазине забылся?! Наверняка же было что-то комичное, из ряда вон; но если лещ остался в глубине, добрай фантазией. Непонятно, правда — ради чего? Откуда абсурдное желание возродить то, что похоронено под пластами времени? Тут даже не рыбу тащишь, пусть и крупную, из-за чего удилище в дугу, целый материк поднимаешь из небытия! Ответ прост: больше никому. И тот, кто тщится совпасть с юным созданием, шастающим по улицам исчезнувшего поселка, будет подстегивать память, пусть даже ее работа бессмысленна и никому не нужна...

2

К поселку, прижатому к лесу и железной дороге, постепенно подступали большие дома. Силуэты многоэтажек пока маячили вдаль, но с каждым годом приближались; и завод приближался — там постоянно строились новые корпуса из стекла и бетона и возводились трубы, что тут же принимались дымить. Туда, где горизонт был изрезан прямоугольниками строений и черными карандашами труб, взрослые отправлялись каждое утро, ведь там — работа, и вообще там *город*. Слово обозначало иную жизнь, которая пугала и одновременно притягивала Севку, манила чем-то таким, чего в их тихой заводи отродясь не было. В городе имелся кинотеатр «Металлург», где показывали фильмы про Фантомаса; на улицах торговали мороженым из больших ящиков на колесиках; и газировкой торговали — в стакан плескали чуть-чуть темно-красного густого сиропа и добавляли пенящейся пузырьками воды. А машин там сколько! В поселок машины заезжали редко, разве что трактор протарахтит иногда или пропылит полувоенный «газик». А тут и «Волги», и «Москвичи», и похожие на большую мыльницу «Жигули»! Где-то там, в большом и шумном городе, родных дожидались «однокомнатные» и «двухкомнатные», куда неизбежно должны переселиться все члены семейства — кроме деда Яши. Тот и слышать не хотел о переезде в городские «хоромы», говорил: из родного дома — только вперед ногами уеду! Не понимая, зачем уезжать столь неудобным способом, по сути вопроса Севка был с дедом заодно. Но лишь заикнулся, что хочет остаться — тут же затрещина, мол, тебя, сопляка, не спрашивают! Здесь же ни детского сада, ни школы, так и будешь болтаться, где ни попадя?!

Посланцем города был двоюродный брат Кеша, потомок старшего сына деда Якова. Отец Севки и тетя Лиза были младшими, старший же, Пётр Яковлевич, давно обосновался в городе, работал начальником на заводе и в поселок почти не показывался. Зато Кеша частенько заруливал на красном мопеде и с транзистором на плече. Если перед домом рычит мотор (Кеша нарочно газовал — для форсу) и всю гремит «музон», — значит, явился городской гость. Он рассказывал про школу, которую скоро закончит, про дом спорта, где занимается боксом, про танцы в парке — про *другую* жизнь, одним словом, каковая представляла увлекательной и захватывающей. Посидев у деда, Кеша обычно навещал знакомых ровесников, что проживали на их улице, и

тоже хвастался: джинсами, транзистором и, конечно, мопедом «Верховина». Брат утверждал, что сам его приобрел, хотя Севка со слов деда знал: мопед купил Пётр Яковлевич. Но с Кешей не спорил. А вдруг придется просить вступиться, если враги проходу не дадут? Севка уже грозился Иванцовым, мол, брат вам ноги из задницы повывирает, но поддержкой Кеша пока не заручился — стеснялся ябедничать.

С отъездом брата, нагруженного рюкзаком с припасами, запах города быстро растворялся в свежем загородном воздухе. И опять тянуло в лес, на пруд, на участок с ульями — в свое собственное царство, где Севка был полновластным хозяином. Или не совсем хозяином? Увы, оказалось — не совсем, взрослые все-таки организовали *пригляд*, понятно, не спросив его согласия.

Люда появляется в доме ранним июньским утром, в голубом сарафане и босоножках, вся летняя и улыбчивая. Пока она получает инструкции, как обращаться с подопечным, сам подопечный исполняется к гостю неприязнью. Уже не верится, что девушка когда-то его спасла — она ж теперь надсмотрщица, шагу не ступишь без разрешения! Он при ней будет, как Найда на поводке или корова Машка на веревке!

— Ты своими делами занимайся, за ним только присматривай, — говорит мать. — А главное, спички ему не давай. Он же тополиный пух поджигает — чуть соседей прошлым летом не спалил!

— Хорошо, не дам, — улыбается Люда.

— И к железной дороге не пускай, — добавляет отец. — Иначе этот партизан когда-нибудь поезд под откос пустит!

«Пропало лето...» — с тоской думает Севка. Но делать нечего: бунт наверняка закончится поркой, значит, привыкай к поводку.

Насупленный, он шагает вслед за Людой, взметая ногами устилающие дорогу тополиные пушинки. Он даже не спрашивает, куда ведут — какая разница? Куда бы ни направились, всяко будет скучно! Когда подходят к дощатому строению с вывеской «Почта», Люда взбегает по ступенькам.

— Со мной пойдешь? — оборачивается перед дверью. — Или тут подождешь?

— Тут подожду... — бурчит Севка. С унынием озирая окрестности, он замечает, как в отдалении блестит на солнце пруд. Небось, головастиков сейчас — уйма, да и мальков тоже, самое время выходить на сачковую ловлю. Только фигу! И майского жука не поймаешь, чтоб в спичечный коробок посадить — как посадишь, если спичек теперь не видать, как своих ушей?! Вздохнув, он обращает взгляд в небо, где жужжит мотором серебристый спортивный самолет. Далеко за железной дорогой располагается аэродром, оттуда и взлетают самолеты — то фигуры в воздухе выделывают, то парашютистов выбрасывают. Эх, стать бы таким самолетом, быстрым и свободным, улететь бы далеко-далеко...

Ну, и где эта надсмотрщица?! Устав ждать, Севка взбегает по ступеням, чтобы столкнуться в дверях с Людой. Лицо у той бледное, в руке вскрытое письмо, которое она сжимает в комок. Люда будто не замечает Севку, движется механически, устремив перед собой потемневшие глаза. Потом вдруг останавливается и рвет конверт с письмом в мелкие клочки. Оба-на! Это ж ценная вещь, у родни и письма, и поздравительные открытки собирают в отдельную коробку, что хранится на шкафу, и лазить в нее — строго запрещено. А тут порвала, да еще выбросила!

Явно встревоженная Люда молчит, но вскоре опять делается улыбчивой. Говорит, неприятное сообщение получила, а такие сообщения — зачем хранить?

— А почему ты на почте письма получаешь? — интересуется Севка. — Их же почтальонша в ящик сует!

— Зачем? — Люда задумывается. — Так надо. Это называется: письмо до востребования.

Новое выражение «до востребования» крутится в мозгу, чтобы вскоре забыться. Куда теперь? В магазин, купить продуктов, каких дед попросил. Хитер дед Яша, раньше

сам ходил за продуктами, и ничего, а теперь Люда с Севкой должны авоськи с консервами и макаронами таскать! Ненадолго примиряет с действительностью купленный Севке петушок на палочке. Не мороженое из ящика, конечно, но тоже сгодится — Севка его усиленно сосет и к дому подходит уже с пустой палочкой.

— Ой, спасибо, Люд... — дед шерит беззубый рот. — Наш-то как? Не балует?

— Сева? Нет, он молодец...

Только Севку похвала не греет, он готов быть отруганным, даже отлупцованным (слегка), но свободным.

— Воды принести? — спрашивает Люда. — Я видела, у вас ведра пустые...

Вот так, Севка, теперь таскай свое маленькое ведро. Мог бы отдохнуть, пока Люда таскает большие ведра, да как-то неудобно перед ней. Колодезный ворот скрипит, цепь вытаскивает из черной глубины наполненную доверху бадью, и Люда подхватывает ее, чтобы налить вначале Севке, затем себе. Все это она проделывает легко, в ее тонких руках чувствуется сила, что не удивляет — она ж его из пруда вытащила! Удивляет другое: что Севка не может этого забыть. А значит, и грубить ей не может — хотя временами хочется — и сбежать не получится. Его же за руку не водят, улучил момент, нырнул в проулок — и ищи-свищи! Но это подлянка, Севка такого не может себе позволить. И зачем только она его спасала?!

Когда Люда о чем-то спрашивает, Севка отвечает односложно, демонстрируя то ли гордость, то ли обиду на жизнь. Скоро ли в школу? Говорят, через год. Хочется ли туда? Не-а, мотает головой Севка, не хочется!

— Как это?! — удивляется Люда. — Учиться ведь интересно!

Он молча усмехается: ага, много ты знаешь про *интересно*! Интересно — на подножку вагона вспрыгнуть и укатить в дальние края! Иванцовым однажды такое удалось, они на товарняке аж в соседний район укатали; и хотя получили по полной (не одного Севку ремнем охаживали!), стали среди мальчишек героями. Поэтому Людины рассказы про какой-то там институт Севка выслушивает без внимания. Институт находится там (Люда машет рукой в сторону многоэтажек на горизонте), только конкурс туда большой, в прошлом году не удалось поступить. Но в этом году она обязательно поступит и уедет отсюда.

— Квартиру дадут? — демонстрирует осведомленность Севка.

— Комнату в общежитии.

— Мои родители тоже жили в общежитии. Но потом вернулись домой, говорят: тут лучше.

— А я вот не хочу жить дома!

Ее лицо опять бледнеет, как тогда, после почты. Они уже закончили таскать воду, шагают по дороге, и Люда уходит вперед.

Севка догоняет ее возле растущей на улице яблони, в чьей кроне виднеются крошечные, явно незрелые плоды.

— Хочешь, допрыгну и сорву? — предлагает он.

— Зачем? Они же еще зеленые...

— А я все равно сорву!

Он хорошо знает ничейное плодовое дерево, сколько раз обрывал с него яблоки. Но сейчас они так высоко, что даже подпрыгнув, слабо достать хоть одно яблочко. Пока Севка ищет глазами палку, чтобы себе помочь, Люда, встав на цыпочки, протягивает руки к ветвям; остается лишь наблюдать, как приподнявшийся сарафан оголяет ее покрытые загаром ноги. И плечи у Люды загорелые, а вот подмышки белые и чистые, хотя у взрослых там обязательно растут волосы.

— Держи... — вываливает ему горсть зеленых яблочек. Что ж, хоть тут надо держать марку: Севка жует зеленухи и, хотя скулы сводит (кислятина!), делает вид, что вкусно.

В последующие дни он таскается хвостом за Людой. Магазин, опять почта, где получают пенсию деда, в очередной раз воды наносить — в общем, скука смертная. Слегка разнообразит жизнь разве что поездка в город — Люде надо в поликлинику, и ей разрешают взять с собой Севку.

В автобусе он сам приобретает билеты — очень уж нравится процесс. Вначале надо опустить пятаки в щель, потом крутануть ручку, чтобы вылезло два билета. Резиновая лента под прозрачной крышкой при этом прокручивается, и опущенные монеты падают внутрь аппарата с легким звоном. Севка не раз задумывался: сколько же денег в такой кассе?! Много, видать, ящик-то большущий, только залезть туда фиг получится, дверца на специальном замке...

— Как, есть счастливый? — спрашивает Люда, когда усаживаются.

— Кто счастливый?

— Не кто, а что. Счастливый билет есть?

Оказывается, если суммы цифр, что пропечатаны справа и слева, сходятся, обладателю бумажного квитка привалит счастье. Услышав об этом, Севка тут же берется за подсчет. Он умеет считать; и чтению уже обучен, потому, по его мнению, школа и не нужна. Но счастья хочется (еще бы!), так что подсчитывает он тщательно, даже губами беззвучно шевелит.

— Не сходитя немножко... — говорит с разочарованием, разобравшись с первым билетом. Зато в следующем суммы совпадают точь-в-точь! Севка еще раз складывает цифры и поднимает квиток над головой — ура, счастливый! Тут же, правда, возникает вопрос: кому достанется билет? Можно забрать себе, на что Севка имеет право, а можно... Минуту поразмышляв, он протягивает билет Люде.

— Зачем? Себе оставь!

— Нет, хочу, чтобы у тебя было счастье!

Усмешка у Люды какая-то странная, не очень веселая. Но Севка все равно доволен, ведь теперь они квиты: Люда его спасла, а он ей счастье подарил!

В городе они минуют парк, где классные аттракционы; автоматы с газировкой тоже проходят без остановки, чтобы вскоре оказаться перед стеклянными дверями. Входят внутрь, присаживаются на кожаный диван, и Люда интересуется: кто последний? Севка озирает коридор, где на таких же кожаных диванах сидят молодые и не очень молодые женщины. Может, думает он, правильнее спрашивать: кто *последняя*? Женщины с любопытством поглядывают на Люду с Севкой, из-за чего тому неудобно.

— Я на улице побуду... — бормочет он, вставая.

— Хорошо, только не уходи никуда.

Снаружи буйствует лето, шелестят кронами акации, и солнце в самом зените. Говорят, тут есть пляж, где можно искупаться, только вряд ли они туда доберутся. Зевнув, Севка оборачивается и видит слева от двери табличку с надписью «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». Ага, понятно, почему там одни тетки! Непонятно, правда, почему они явились сюда, ведь Люда собиралась в поликлинику?

Спустя час томительного ожидания Севка задает этот вопрос. Люда задумывается, затем отвечает:

— Это одно и то же. Только... Ты все равно не говори никому, что мы тут были, хорошо?

— Сказать, что в поликлинике были?

— Ага, так и скажи.

Привкус тайны сразу подстегивает интерес к жизни. Почему Люда скрывает, что сюда ходит? И кто должен этим интересоваться, то есть, кому Севка должен врать, не моргнув глазом? Опять же, обладание чужой тайной давало право чего-нибудь выцыганить, например, сладкую вату на палочке, это гораздо вкуснее петушков, что продаются в их магазине. Но выпрашивать не с руки, пусть Люда сама догадается его отблагодарить.

Увы, та погружена в себя, на ходу просматривает бумажку, полученную в этой самой консультации, и тащит его на автостанцию.

Наладившаяся худо-бедно гармония летит в тартарары, когда на остановке сталкиваются с Иванцовыми. Выходят из автобуса, Люда берет Севку за руку, и тут на тебе — братцы на великах! Он торопливо выдергивает руку из чужой ладони, только поздно — заметили, гады; пристроившись сзади, они едут следом, отпуская шуточки:

— А Севку за ручку водят! У него нянька!

— Она ему соплю подтирает!

— И жопу, ха-ха-ха!

Это не просто позор — это казнь: Севку завели на эшафот, вздернули на веревке, а на грудь привесили табличку «Маменькин сынок». В каком-то фильме так казнили наших солдат, с табличками на груди, а вокруг гоготали ээсовцы, прямо как сейчас Иванцовы...

После очередной реплики Люда внезапно оборачивается и цепко хватает старшего Иванцова за ухо.

— Ну-ка повтори, что ты сказал!

— А-а!! — скулит тот, — Отпусти!

— Я не слышу! Давай, повторяй про няньку!

Младший давит на педали, пылит прочь; вскоре уезжает и старший, прижимая рукой покрасневшее ухо. Но Севка все равно чувствует себя раздавленным, будто майский жук, по которому проехала машина. Задразнят теперь; да и, получается, опять он в долгу перед Людой, что за него вступилась...

Если выскочить из той реальности и отмотать жизнь лет на двадцать вперед, то вспомнится встреча у пивного павильона — уже в городе, когда Севка (который давно стал Всеволодом) столкнется с младшим Иванцовым. Тот его узнает и, ощерившись в ухмылке, попросит угостить, мол, недавно откинулся с зоны, на работу не берут и т. п. Прихлебывая проставленное пиво, бывший заклятый враг будет вспоминать поселок, старшего брата, которого прошлым летом зарезали в драке, а еще Люду. Что ее помнил Севка-Всеволод, было оправданно, но когда о ней заговорил вчерашний ээк — это удивило. Что именно он сказал — память не сохранила, вроде ничего плохого. Зато запомнился сердечный укол, будто игла времени вонзилась слева, и вдруг ожило то жаркое лето; и девушка в голубом сарафане, и кислые яблочки, и его *забастовка*, объявленная на следующий день после встречи с братьями. Да, он тогда забастовал, сославшись на плохое самочувствие, и дал клятвенное обещание: из дому — ни ногой! Можно сказать: обрек себя на заточение, ведь сидеть дома — все равно, что добровольно пребывать в тюрьме. Но дразнилки братьев еще страшнее, так что хочешь не хочешь, а сиди взаперти.

Хорошо, в доме никого, все работают, даже дед. Севка выглядывает в окно и видит человека в соломенной шляпе с широкими полями и свисающей с них марлей, что копается в одном из ульев. Лица не видно, руки-ноги прикрыты перчатками и сапогами, не дед, а натуральный Фантомас. Надолго ли Фантомас ушел на участок? Похоже, до вечера, значит, можно без опасения рыться в дедовом сундуке.

Массивный коричневый сундук подчас спасал от родительского гнева, а еще таил внутри массу интересных вещей. А тогда снимем навесной замок (дед никогда его не запирает), и попробуем откинуть крышку. Тяжелая, с железными заклепками, крышка подается с третьего захода. О том, что закрыть обратно — еще труднее, он не думает, тут же ныряет внутрь, чтобы извлечь гимнастерку, к которой пришпилены награды. Вот медаль с перекрещенными винтовкой и саблей и надписью «За боевые заслуги». Дед говорит: получил на финской войне, что Севке не совсем понятно. Воевали ведь с немцами, какая еще финская война?! Война может быть только немецкая! А вот орден Красного знамени, получен за взятие Праги, это город то ли в Германии, то ли еще где-то. Орден, пожалуй, красивее медали, хотя дед говорит: ему каждая награда

дорога. Месяц назад отмечали День Победы, собралась вся родня, и дед сидел в этой гимнастерке за столом, принимал поздравления, а после очередной рюмки вдруг расплакался. Он вообще стал слезливым, как маленький, ей-богу, и все о смерти поминает.

Тут же хранятся многочисленные фотографии, перехваченные резинкой, но смотреть их не очень интересно — большинство пожелтело, даже лиц не разглядишь. Зато толстую черную книжку с крестом на обложке Севка листает с любопытством. Срез страниц имеет странный розовый цвет, что уже необычно — у других-то книжек срез белый! И запах от нее незнакомый исходит; обычно-то книжки не пахнут, а эта — пахнет. Хотя главное таится внутри, ведь это самая главная, как утверждает дед Яша, книжка, называется — Библия. В ней сказано (опять же, если верить деду) обо всем на свете, если ее читать — другие книжки вообще не нужны! И Севка в стремлении приобщиться к абсолютной истине листает страницы, вслух прочитывая отдельные абзацы. Но быстро утомляется из-за твердых знаков, прибавленных после многих слов, да и буква, похожая на мягкий знак с черточкой, сбивает с толку. И вообще — что значат такие слова: «Люди из колена Гада жили возле племени Рувима»?! Разве люди могут быть из колена?! Тем более из колена какого-то «Гада»?! Может, прав отец, когда насмеяется над дедом, дескать, опять ты, батя, распространяешь опиум для народа? Тот, правда, всегда огрызается:

— Глянь-ка, на инженера выучился, умный стал! Не хочешь — не читай, а другим не мешай!

— Я и не читаю. Ты пацана не порти, он же будущий пионер!

Пионеров Севка видел, у них алые галстуки на шее, значки на рубашках, пожалуй, он бы не отказался стать таким же, когда подрастет. Но и от Бога тоже не хотелось отказываться. Ведь Бог, по словам деда, главнее всех и сильнее всех — сильнее отца и даже дяди Коли, который всегда побеждал, если на руках с кем-то тягался. Да что там — сильнее поезда, что тащит кучу вагонов и давит железные гвозди в лепешку. Жил Бог на небе, но одновременно — в церкви за рекой, ее золоченая луковка, если выйти за пределы поселка, хорошо просматривалась вдали. Взрослые говорили, что Севку там *крестили*, эту операцию покойная бабушка провернула тайком (отец возражал). Но Севка этого не помнит. Он и бабушку помнит смутно, самое четкое воспоминание: как она лежит в гробу, украшенная цветами, а бородатый человек в красивой одежде стоит над ней и размахивает золоченой штуковиной на цепочке. Штуковина дымит, распространяя приторный аромат, а взрослые, склонив головы, плачут.

От бабушки осталась только фотография, что висит на стене в дедовой комнате и чуть-чуть смущает Севку. Да, Бог все видит, и за то, что Севка без спросу залез в сундук, в будущем непременно накажет. Но кто видел этого Бога? И кого он наказал? А вот строгий взгляд с фотографии жжет спину, в глазах бабушки читается: ая-яй, что ж ты творишь?! Закрой крышку немедленно и повинись перед дедом! Виниться Севка считает лишним, задница и так не отдыхает от ремня, но крышку все-таки закрывает.

Спустя два дня затворник возвращается на улицу. Заклятых врагов, по словам родителей, отправили в детский лагерь, куда и Севку следовало бы отправить, да возрастом не вышел. «И хорошо, что не вышел... — думает Севка. — Подумаешь, лагерь! Там же скучотища, по струнке надо ходить!» А вот Люда по струнке ходить не заставляет, один раз искупнуться в пруду разрешила (правда, на мелководе, под ее присмотром), а вскоре вообще предложила такое, от чего у Севки захватило дух.

— На аэродром сходить?! — не поверил тот. — Туда, за железку?!

— Ну да. Только болтать об этом, сам понимаешь...

— Да понял, не маленький!

Поклявшись держать язык за зубами, он даже перекрестился, как дед Яша, если кого-то в чем-то убеждал, разве что без присловья: «Вот те крест!»

— Это лишнее! — засмеялась Люда. — И так верю!

И вот они пересекают железную дорогу, границу незримых Севкиных владений. Лишь однажды он рискнул углубиться в глухой лес, что по ту сторону насыпи, и тут же потерял тропку (тогда-то его и искали с собаками). Но Люда ведет Севку уверенно, ей лесная чащоба не страшна. Непонятно только — чего вырядилась? Цветастое платье надела, да еще волосы в пучок собрала и красной лентой перехватила! Когда останавливаются у кромки убегающего к горизонту летного поля, Люда достает из сумочки помаду, зеркальце и быстро окрашивает губы. Из-за чего делается похожей на тетю Лизу — та все время с ярко-красными губами. Так мало того — еще серьги из сумочки вынимает, чтоб привесить к ушам!

— Невеста из теста... — вполголоса бормочет Севка. С аэродромом связано еще одно воспоминание: он у отца на плечах, рядом мать в праздничном (как сейчас у Люды) платье, и все, задрав головы, плятятся в голубое, без единого облачка, небо. А в небе кружат два самолета — то на бок повернутся, то свечкой вверх взмоют, то камнем падают вниз. Народу уйма, потому что праздник, на аэродром пустили всех желающих, еще и лимонад продают с пирожными, что Севке не менее важно, чем самолеты. Ну, маленький был; вот сейчас, например, самолеты гораздо интереснее. Они выстроились в ряд, поблескивая зелеными бортами на солнце, и надо бы, по идее, подойти ближе и, если разрешат, вскарабкаться на крыло. Однако Люда ведет Севку к стоящему поодаль металлическому ангару.

По дороге останавливаются возле штакетника, за ним видны всякие необычные штуковины: большие колеса с петлями, подвешенные на тросах кожаные сиденья с ремнями, а еще вышка, где наверху болтается раскрытый, будто зонтик, парашют. Что это?! Парашютный городок, говорит Люда, а потом добавляет, мол, она тут когда-то занималась, даже с парашютом прыгала.

— Отсюда? — Севка указывает на вышку.

— Нет, с самолета.

— Да ну?! — не верит он.

— Честное слово. Жаль, родители запретили, когда узнали... Ладно, побудешь здесь? Пока я по делам схожу?

— Конечно, побуду!

(Да это же счастье невообразимое!)

— Только осторожнее! — кричит в спину, когда он устремляется за штакетник. — Не лазай никуда!

— Да-да, ты иди! — машет он рукой, не оборачиваясь.

Конечно, он не будет лазать — пока «надсмотрщица» не отойдет подальше. Люда удаляется, оглядываясь, а Севка уже приплясывает, стоя возле большого колеса. Ну что, ушла? Тогда быстренько влезем внутрь железного обруча, по краям которого ременные петли — ровно четыре штуки, для ног и для рук. Он вставляет в петли ступни и тянет руки вверх. Ну же! Если зацепиться за верхние петли, можно крутиться, как хочешь — вниз головой, вверх головой, где еще такое возможно?! Увы, не дотянуться, подрасти надо для взрослых удовольствий...

Высвободившись из петель, он тут же устремляется к болтающемуся на тросах сиденью, чтобы долго и самозабвенно раскачиваться, как на качелях. А теперь — на вышку! Севка лезет по крутой лестнице вверх: один пролет, второй, третий, еще чуть-чуть, и выберется на площадку, рядом с которой болтается парашют. Но тут опять разочарование: ведущий наверх люк закрыт на большой висячий замок.

Зато отсюда можно озирать окрестности, виден почти весь аэродром. И металлический ангар с большой надписью «ДОСААФ» над входом тоже прекрасно виден. Ага, вот и Люда показывается из дверей, а следом — высокий парень в синем комбинезоне. Видно, как парень приближается к рукомоинику, что слева от двери, споласкивает руки и вытирает их полотенцем. Повесив полотенце на плечо,

приближается к Люде, пытается приобнять, но та отбивает руку. А затем вдруг срывается с места и спешит (почти бежит!) к парашютному городку.

Севка кубарем скатывается вниз. Он уже заготовил легенду, мол, торчал у ворот, как часовой, только Люда ни о чем не спрашивает. Едва поспевая за ней, Севка замечает платок, который прикладывают к глазам — плачет, что ли?! Ой, было бы из-за чего! Вот когда Севку лупцуют — с оттягом, от души, слезы сами фонтаном брызжут из глаз; а тут подумаешь: с женихом (Севка так определил незнакомца) чего-то не поделила!

Чужая тайна, тем не менее, пробуждает фантазию. А может, это и не жених вовсе? А, допустим, какой-нибудь шпион? Ему дали задание: попасть на аэродром и разведать обстановку, чтобы потом взорвать самолеты. Шпион пытается склонить к предательству Люду, ведь одному непросто организовать взрыв, поэтому посылает ей тайные письма, которые надо получать «до востребования». Только Люда рвет эти письма, не желая становиться предательницей, ведь она хорошая (и смелая — с парашютом прыгала!). А еще она красивая. Семеня следом, Севка думает: мог бы он в нее влюбиться? Пусть не сейчас, позже, когда подрастет, и с удовлетворением понимает: пожалуй, да. Так-то девчонки, что только визжат и ноют, его не интересуют, но Люда — другое дело!

— А с парашютом страшно прыгать? — спрашивает он, когда останавливаются перед насыпью. Стерев с губ помаду, Люда срывает серьги, вынимает ленту из волос.

— Ничего особенного! И вообще ерунда это все — самолеты, парашюты... Терпеть их не могу!

Севка вздыхает, затем поднимает глаза к небу.

— Если бы разрешили — я бы тоже прыгнул. А еще узнал бы точно — есть там бог? Или дед Яша про него брешет?

Люда молчит, затем произносит:

— Нет там никакого бога. И вообще его нет... Ладно, идем домой!

Только вошли в поселок, а навстречу Генка Бекас: в расстегнутой рубашке, обнажающей наколки на груди, с гитарой через плечо и, как обычно, пьяный. Севку родня все время пугала: будешь плохо себя вести — попадешь, как Генка, в колонию! А колония — это клеймо на всю жизнь, потом вообще никуда не возьмут!

— Ой, какая встреча! — расплывшись в ухмылке, Бекас преграждает путь. — Куда спешим?

— Не твое дело, — звучит ответ.

— А это кто? — указывает на Севку. — Новый хахаль? Часто их меняешь, Людочка, ох, часто...

Он хохочет, довольный своей шуткой.

— Ладно, дай пройти!

— Да не торопись, лучше песенку послушай!

Бекас снимает с плеча гитару, звякает по струнам.

— Не надо мне твоих песен! Иди проспись!

Севка не понимает, кто такой «хяхаль», но чувствует: надо вступить. Странновато, конечно, тетя Лиза говорила, что Генка *блатной*, с таким вообще нельзя связываться. Но тут ситуация, когда отступить (с учетом будущей Севкиной любви) негоже.

— Нам это... — бурчит он. — Домой надо!

— Мало ли куда вам надо!

— Если не дашь пройти...

— То что?

— Я дяде Коле пожелаю! — выпаливает Севка. — Он сталевар! И у него ножик есть!

Взятый аккорд внезапно обрывается.

— Надо ж, какие у тебя защитники! — удивленно произносит Бекас. — Соплей перешибешь, а туда же, ножиком грозит! А вот это видел?

Он вынимает из кармана финку с наборной рукояткой, крутит ее в пальцах. И тут душа уходит в пятки: ну вот, сейчас их обоих зарежут!

— Спрячь, — говорит Люда. — А то опять кой-куда попадешь... А ты, Сева, не бойся.

Его берут за руку и ведут по улице. Он настолько перепуган, что позволяет себя позорить, напрочь забыв про «няньку».

— В общем, одумаешься — завсегда тебя приму! — звучит за спиной. — Не гордый! Затем звенит гитара и раздается козлетон:

Мама, я лётчика люблю!
Мама, за лётчика пойду!
Он летает выше крыши,
Получает больше тыщи,
Мама, я лётчика люблю!

Вечером Севка долго не может заснуть, так и не поняв: смелый он был сегодня? Оказался трусом? И зачем про ножик сказал? Этим ножиком, узким и длинным, дядя Коля резал только свиней, людей не стал бы — он ведь не *блатной*. Севка вспоминает, что дед планирует вскоре зарезать хряка Борьку; потому, наверное, и всплыл в памяти нож, что в Севкином сне оборачивается настоящим мечом. Севка крутит его в пальцах, как Бекас финку, легко и непринужденно, Генка же стоит напротив и дрожит, потому что у него только гитара. Они начинают фехтовать тем, что имеется, да разве гитара против меча выдержит?! С жалким обрубком грифа в руке, Генка падает на колени и молит о пощаде...

В воскресенье Севка нарезает круги вокруг деда, не зная, с какого боку подступиться. Он мало соображает в любви, но инстинкт подсказывает: надо держать ухо остро, соперников вокруг — куча! Во-первых, жених-шпион с аэродрома, во-вторых, блатной Бекас, а может, и третий кто-то обнаружится, так что, пока подрастает, на ней точно женятся! А тогда следует обратиться к дедовой мудрости, она-то не подведет.

— Послушай, дедушка... — решает он. — Помнишь, ты говорил, что в твоей библии про все на свете написано?

— Говорил. И что?

— И про любовь написано?

— Вот те раз! Еще с горшка не слез, а такими вещами интересуется!

— А вот и не написано, а вот и не написано!

Дразнилка срабатывает: крышку сундука откидывают, и оттуда извлекается заветный черный том. Водрузив на нос очки с перевязанной изолентой дужкой, дед долго копается в книге.

— Ну вот, слушай, шалопут... Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность. Стрелы ее — стрелы огненные... Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее... И если бы кто давал все богатство дома твоего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением...

Дед читает нараспев, не так, как обычную книжку или газету. Внезапно он замолкает и долго молчит, задумавшись.

— Блажь это все... — произносит, наконец. — Мы вот с моей прожили, почитай, сорок пять годков. По-разному было, но прожили. А потом раз — и нету ее! Эх, беда...

И вот наступает пора резать Борьку. Его подруга скоро опоросится, в загоне завизжит-забегают целый выводок поросят, значит, хряк отжил свое. Севка уже наблюдал в позапрошлом году, как резали свинью, то есть, видел, как отец с дядей Колей зашли в сарай, чтобы спустя полчаса вытащить тушу за ноги и, уложив посреди

двора, опаливать струей пламени из паяльной лампы. Вот и сегодня дядя Коля надевает кожаный фартук и натачивает свой длинный и острый ножик. Вжик-вжик на бруске, вжик-вжик, так что Севке становится не по себе. Ну да, не жаловал он Борьку, но как представит, что в того втыкают нож... Жалко, пусть бы еще побегал-похрюкал свинтус (так подчас называли Севку, уравнивая с Борькой).

— Слушай, может, один справишься? — брезгливо морщится отец, тоже обряженный в фартук.

— Как это — один?! — вскидывает глаза дядя Коля. — Надо, чтобы ноги кто-то держал, пока сердце буду нащупывать!

— Знаешь ведь: не люблю я этого...

— Ну да, ты у нас интеллигенция! — дядя Коля хохочет. — С чего бы? Ты ж на этом дворе вырос, небось, в детстве курам головы рубил!

— Да не рубил я ничего, и сейчас этого не переносу...

Севка тоже ни за что не согласился бы держать ноги, пока длинный ножик будет что-то там внутри Борьки *нащупывать*. Поэтому он с удовольствием покидает двор с поручением: оббежать соседей и пригласить вечером на печенку.

Соседей слева оповестил, справа тоже. Забежать к родителям уехавших в лагерь Иванцовых? А вот фиг им, а не вкусной печенки! Проскочив мимо кирпичного иванцовского дома, Севка взбегаёт на крыльцо, хотя понятия не имеет — кто ему откроет, знакомство с соседями ограничивалось ближайшими домами.

— На печенку? Спасибо, придем...

На пороге полная веснушчатая девушка в халате, кажется, ее зовут Нина. А может, Наташа, помнить дальних соседей не обязательно, как и здороваться при встрече.

— Ладно, я пойду...

— погоди-ка! — придерживает его Нина (Наташа?). — Это ты хвостом за Людкой бегаешь?

— Ни за кем я не бегаю... — бурчит Севка. — Я сам по себе!

— У меня что — глаз нет?! Куда ходите-то? Небось, за железку? Знаем-знаем, к кому эта парашютистка шастает...

Нина-Наташа усмехается, причем нагло так, будто знает о Севке и Люде что-то потаенно-постыдное. Может, она и про Севкину любовь догадывается? Вот будет позорище, если об этом заговорит...

— Пошел я, не могу больше... — пяясь, бормочет он. Теперь повернуться — и стрекача! Все, хватит с него соседей! Он прогуливается просто так, тянет время и возвращается на двор, когда отец уже опаливает огромную грязновато-белую тушу.

— Хочешь? — дядя Коля протягивает Севке алюминиевую кружку.

— А что это?

— То, что мужикам требуется. Для силы. Ты же мужик?

Севка мужик, конечно, только за здорово живешь его не купишь — не будет пить, чего зря. Заглянув в кружку, он видит что-то темно-красное, густое, от чего идет легкий парок.

— Ну что ты ему кровь-то суешь?! — кричит тетя Лиза. — Тебе нравится — сам и пей!

Кровь?! Бр-р, как можно ее пить?! Это ж хуже самогонки! Чувствуя спазм в желудке, Севка убегает в дом. А там уже разложен стол, мать расстилает скатерть, ставит тарелки с рюмками, значит — придут гости (много гостей!). Они будут выпивать, закусывать, а потом петь — с подачи деда. Застолье без песни, утверждает тот, что дом без крыши, и обязательно затянет своим дребезжащим голоском «По долинам и по взгорьям». А потом тетя Лиза затянет про рябину кудрявую; к концу аж уши от их ора закладывает и хочется сбежать из-под стола, где во время песнопений отсиживается Севка.

Когда гости рассаживаются за столом с закусками, бутылками и огромной скворчащей сковородкой, первым рюмку поднимает дед. Уже взявшийся лопать, Севка

получает затрещину, мол, не спеши, не помираешь от голода! Ага, есть-то хочется! Пока дед благодарит пришедших, Севка с тоской глядит то в тарелку, то на Люду, что сидит напротив с напряженным лицом. Физиономия ее папаши, сидящего рядом, наоборот, довольная, и борода горделиво топорщится.

— Да понятно! — машет он рукой. — Спасибо, в общем, что позвали!

Папаша опрокидывает рюмку, тянется к сковородке, и застолье обретает свой обычный ход. Капуста, холодец, дымящаяся печенка, с которой капает густой темный жир, — все это уничтожается под тосты и без оных. Только Люда почти ничего не ест, да и налитую рюмку не трогает.

— Ну, чего сидишь, как истукан?! — толкает ее в бок папаша. — Выпивай да закусывай — заслужила!

Он подмигивает Севке.

— Верно говорю? Людка-то хорошо за тобой присматривает?

— Нормально... — бормочет Севка. Он видит, как Люда ковыряется в тарелке, затем откладывает вилку.

— А вы ей огурчика положите, соленьенького! — раздается знакомый голос. — Он ей по вкусу придется!

Подавшись вперед и взглянув налево, Севка видит веснушчатую Нину-Наташу, что с ехидной усмешкой пялится на Люду.

— Как-нибудь сама разберусь... — внезапно бледнеет та. — И вообще тут душно, на улицу пойду...

— Ага, иди подыши! В твоём положении — полезно!

Нина-Наташа хихикает, а Людин папаша почему-то мрачнеет и тянется к графину с мутноватой жидкостью. До того, как Севка сползает под стол, он еще несколько раз наливает и опрокидывает. Как обычно, дед затягивает песню, только папаша не дает петь, что-то злобно бурчит, всех перебивает — и почему такого терпят?! А за грязные сапоги почему не сделали выговор?! Диспозиция позволяет оценить чужую обувь, — так вот у папаши она самая грязная; если б Севка в такой обуви в комнату зашел — за вихор бы отодрали!

К концу застолья папаша напивается, скандалит, даже завернутый в марлю шмат сала, что всучивают на дорожку, не может его утихомирить.

— Где она?! — озирается, стоя в сенях. — Эй, ты куда пропала?!

Похоже, ищут Люду, что так и не вернулась за стол.

— Ну, погоди, курва, поговорим еще...

Вдруг вспоминается: «Не хочу дома жить!» Еще бы, с такой родней не жизнь, а сплошное расстройство! Севкина родня еще туда-сюда, так даже с ними порой жить не хочется. Может, убежать от них? Пока мою посуду и убирают столы со стульями, мысль набирает силу, обрастает деталями, и к моменту отхода ко сну превращается в разработанный план.

Понятно, что побег планируется вдвоем с Людой, причем лучше всего на самолете. Для этого нужно договориться с женихом-шпионом, и Севка даже знает, как. «Хорошо, — скажет он. — Я никому не разболтаю, что ты тут шпионишь. А ты за это предоставишь самый быстрый самолет и научишь им управлять». Тот, конечно, испугается и тут же согласится на Севкины условия. И вот они усаживаются в кабину, Севка за штурвал, Люда сзади. Оба с парашютами за плечами, ведь в дальних краях, куда они улетят, может не быть аэродрома, придется прыгать. «От винта!» — произносит Севка, включает двигатель, и пропеллер начинает со свистом рассекал воздух. «Смотри, не вздумай чего-то взрывать! — высунувшись из кабины, крикнет он напоследок. — А то сообщу из дальних краев куда надо!» Потом выруливают на взлетную полосу, Севка прибавляет газу, и вот самолет уже в воздухе. Прощальный круг над поселком, теперь немного покружить над городскими кварталами, чтобы показать язык брату Кеше. Видел, да?! Это тебе не на мопеде кататься! А теперь

прощай, мы улетим туда, где нас никто не найдет! Там нет злобных папаш, блатных Бекасов, ехидных Нин-Наташ, там сплошное счастье...

Когда на следующий день Люда не приходит, дед посылает узнать: не случилось ли чего? Оказывается, случилось: Люда вчера упала, разбила лицо, так что придется пока обойтись без нее. Странно только, что Людина мамаша докладывает об этом вполголоса и все время на дверь оглядывается. Давай-давай, подгоняет, иди домой! Но Севка лишь делает вид, что уходит, а сам — шасть под окна. В какое постучать? Тут кошка сидит, потягиваясь, там топорщатся колючие побеги столетника. Севка протягивает руку к столетнику и тут же отдергивает: вдруг из-за шторки злобный папаша высунется?!

Пока размышляет, сдвигается тюль в окне с кошкой, створка распаивается, и в темном проеме возникает Люда. Прикрыв платком лицо, она машет рукой: мол, уходи отсюда! Но Севка не уходит — он хочет доложить о разработанном плане, чтобы назначить день и час побега. Он все продумал: Люда плюнет на свой институт, а Севка — на дурацкую школу, всего этого в дальних краях не нужно. Там и на работу ходить не нужно, деньги просто так дают, каждый день хоть петушки на палочках покупай, хоть газировку ведрами.

— Фантазер ты, однако... — говорит Люда. Когда она отнимает от лица платок, Севка видит под левым глазом крупный синяк.

— Упала, да? — спрашивает участливо.

— Ага.

Она осторожно прикасается к припухлости, затем произносит:

— Не влюбляйся ни в кого, вот что я скажу.

— Ой, очень надо! — машет он рукой. — Я девчонок вообще терпеть не могу!

— Вот и молодец. А теперь иди, не надо тут стоять...

Неожиданно отпускают в «декрет» тетю Лизу, ей и поручают неугомонного племянника. Живот у тети Лизы вырос до невозможности, ходит она медленно, вперевалку, за Севкой угнаться трудно. Но тот клятвенно обещает не убежать далеко от дома и поначалу с трудом, но держит слово.

— Чего тебя на соседнюю улицу тянет?! — удивляется она. — Здесь играй, места хватает!

А тот стремится к дому с покосившимся штaketником, будто перелетная птица на родину. Он ведь самого главного (про любовь) не сообщил! А вот если сообщит, Люда перестанет считать его малолеткой-фантазером и очень зауважает. Быть может, даже полюбит. Улучив момент, когда тетя Лиза задремывает на крыльце, Севка стремглав летит к Людиному дому и встает под тем же окном. Кошки на этот раз нет, а на стук высовывается мамаша, злая, как змея.

— Чего бегаешь сюда?! А?! Нету Людки, в больнице она!

Створка с грохотом захлопывается, а Севка отправляется обратно. Он в унынии и тревоге, ведь просто так в больницу не попадают. Игры теперь неинтересны, жизнь делается скучной; даже когда тете Лизе становится плохо и за ней приезжает «скорая», он не очень переживает. Тем более, к вечеру дядя Коля уже возвращает ее на такси и говорит: все обошлось.

Интерес просыпается, когда приглушенным тоном обсуждают случившееся, и в застолье мелькает знакомое имя «Люда». А следом незнакомое слово «аборт». Тетя Лиза, оказывается, видела Люду в больнице, там-то и делают «аборты», но зачем делают — фиг знает. Чутье подсказывает: не следует проявлять любопытство, надо потерпеть. И он терпит; и у самой Люды, которую встречает спустя несколько дней, тоже ни о чем не спрашивает. Спрашивает она: как, мол, живешь?

— Нормально... — отвечает. — Этот пригляд вообще не нужен. Я взрослый уже.

— Вижу, что взрослый... — усмехается Люда все той же странной усмешкой, будто не весело ей совсем. Да и выглядит не очень: лицо осунувшееся, серое, и ходит еле-еле. «Если бы я сейчас тонул, — думает Севка, — вряд ли она бы меня вытащила...»

И хотя он не раз мысленно репетировал слова, что должен ей сказать, они вылетают из головы.

Люда о чем-то задумывается, затем говорит:

— Слушай, если ты взрослый... Ты не мог бы меня выручить?

— Я?! Да я... Конечно, могу!

— Тогда подожди тут, хорошо?

В ожидании он жметя к ближайшему забору, чтобы дед или тетя Лиза, если выйдут искать, не потащили домой. По счастью, родни не видно, а вот и Люда возвращается с листком бумаги в руке. Эту записку, говорит, надо отнести на аэродром, в тот самый ангар с надписью «ДОСААФ».

— Ты ведь читать умеешь, не ошибешься?

— Еще как умею! А кому передать?

Он прекрасно знает — кому, но не хочет признаваться в том, что подглядывал за ними с вышки.

— Кому? Инструктору. Спроси инструктора, ему и отдашь записку. Главное, в лесу не заблудись.

— Не заблужусь!

Тайна оказалась не столь уж таинственной — никакой это, выходит, не шпион, а просто инструктор. Чего именно делает инструктор, Севка не знает, но самолеты уж точно не взрывает. Возможно, все прояснила бы записка, которую Севка может запросто прочесть; пару раз он даже тормозит, чтобы это проделать. Но тут же вспоминает, как полез однажды на шкаф, где в ящике хранилась семейная корреспонденция, и был застукан дедом. Тот не ругался, не грозил ремнем, а просто сказал: никогда не суй нос в чужие письма, иначе люди уважать не будут.

Железная дверь ангара заперта. Севка стучит вначале кулаком, затем встает спиной и долбит пяткой. Наконец, слышится лязг замка, и он буквально вваливается внутрь.

— Чего стучишь?! — раздается грубый голос. — Кто тебя вообще на аэродром пустил?!

Перед ним толстый мужик в промасленной спецовке, явно не тот, к кому послали. Раздраженный, он все-таки выслушивает Севку, забирает записку и, не читая, прячет в карман.

— Устроили, понимаешь, дом свиданий... — бормочет недовольно. Затем внимательно смотрит на Севку.

— Ладно, передай этой своей... Уволился он. Уволился и уехал. Куда — не знаю, адреса не оставил. Запомнишь?

— Запомню.

— Главное, передай, что адреса не оставил. То есть, искать его не надо. Запомнил?!

— Да запомнил, конечно!

— А теперь иди. Иди-иди, нечего бегать по объекту!

На обратном пути он приостанавливается возле парашютного городка: может, покрутиться-покататься? Нет, решает, нельзя, надо срочно нести известие про уехавшего инструктора. Севку этот факт даже радует, тот ведь был соперником, а если умотал куда-то далеко — скатертью дорожка!

— Не оставил адреса, значит... — медленно произносит Люда.

— Не-а, не оставил. И искать не надо, сказали.

На ее лице застывает странная гримаса, будто человек силится улыбнуться, а кажется: вот-вот заплачет.

— А я все равно не жалею... — говорит она.

— О чем? — тупо спрашивает Севка.

— Ни о чем. Не жалею, и все.

Она отворачивается, ее плечи вздрагивают, а Севка — в растерянности. Когда дети хнычут-плачут, все понятно, можно вообще внимания не обращать, а вот когда взрослые...

И опять наплывает пелена, и можно только предположить (не вспомнить!), что именно он тогда сказал. Или она что-то сказала? Этот сюжет воспоминания вообще не претендует на точность, он изобилует темными местами, которые вспоминающий стремится заполнить выдумкой и так хитро изловчиться, чтобы повернуть ход событий в желаемую сторону. Подправить жизнь, текущую по абсурдным законам, выстроить канву так, чтобы свет и полное согласие в конце, да вот — не получается... Прошлое невозможно изменить или подправить, оно отпечатано на невидимых скрижалях, так что глупо размышлять на тему: мог бы тот, малолетний Севка, что-то изменить? Зависело ли что-то от него? Кажется, найдись вовремя нужное слово, правильная интонация, и можно избежать неизбежного. Но это — самообман, особенно когда размышляешь задним числом. Так что сюжет следует достраивать по уже утвержденной высшими инстанциями канве, добавляя разве что второстепенные детали.

3

В тот вечер домашних взбудораживает известие: Машка пропала! Пастух Кирюха перепился, заснул на выпасном лугу, вот коровы и разбрелись, кто куда. Одних отловили на лесной опушке, другие сами домой пришли, а вот Машка как в воду канула.

— Ирод, чистый ирод! — ругается дед и сует в лицо Кирюхе костистый кулачок. — Ты ж сам хуже скотины, пьянь этакая! Вот где теперь искать ее, голубу?!

Пастух вращает осовелыми глазами.

— Куды она денется, Яков Петрович?! Вернется, мать ее растак...

— Ага, вернется! За аэродромом волков, говорят, видели! Ну, если задерут... Шкуру с тебя спущу, алкаш!

Вначале на поиски отряжают дядю Колю с отцом, они больше часа ходят по подлеску, что окружает луг, и возвращаются ни с чем. Положение серьезное, Машка, считай, член семьи, да еще кормилица. Мать с тетей Лизой ее доили, получалось почти по ведру молока, которое затем разливали по банкам. Парное выпивали сразу, каждому по большой кружке доставалось, а Севке — целых две, чтобы рос быстрее. Остальные банки прятали в подпол, чтобы потом пить прохладное молоко или заливать в сепаратор, что временами гудел в сенах, изготавливая густую жирную сметану.

— Давайте я поищу! — приплясывает Севка. — Я все места здесь знаю, точно найду!

— Сиди уже! — говорит мать. — Вечер на дворе, тебя потом самого искать придется!

Отец с дядей Колей разыскивают батарейки и вставляют в фонарик, чтоб заниматься поисками в темноте. И вдруг — тархтенье мотора за окном! Оказывается, приехал брат Кеша, для которого погазовать у крыльца — это святое.

Идею задействовать Кешин мопед подает Севка, дескать, на нем можно все укромные места объехать, причем быстро, а пешком — до утра будете искать. Брат не возражает (тоже любитель приключений!), да вот с напарником, кто указывал бы дорогу — не складывается. Когда сзади подсаживается могучий дядя Коля, рессора проседает так, что не крутится колесо. С отцом та же история: поерзав на сиденье, он слезает и разочарованно произносит:

— Так мы точно где-нибудь застрянем...

И тут наступает звездный час Севки. Он, во-первых, легкий, во-вторых, лучше всех знает здешние окрестности, так что получается: у взрослых просто нет выбора!

— Ты, Кеша, следи за ним... — говорит отец, усаживая сына сзади. — А ты крепче за брата держись, понял?

— Да понял, понял...

И вот они гонят вперед, подпрыгивая на неровностях дороги. Уличные фонари позволяют ехать без включенной фары; но лишь заканчиваются дома, как их

накрывает темнота, значит, надо ее осветить. Луч света скачет по траве, редким деревьям, и Севке, глядящему из-за Кешино плеча, очень приятно: ехал бы и ехал. Хотя лучше, если бы за рулем находился он сам, а сзади сидела Люда и обнимала бы его так же, как он обнимает брата. Ладно, с самолетом не вышло, но можно ведь уехать в дальние края на таком мопеде. Побольше бензину в бак залить, усесться поудобнее — и вперед!

Когда луч упирается в стену деревьев, Кеша притормаживает.

— И куда теперь?

— Там дорожка есть... Езжай по ней, только тихо.

Лесная дорога таинственна и опасна: мопед ныряет вниз, потом взъезжает вверх по взгорку, рыча мотором; по лицам хлещут ветви, из-за чего приходится нагибаться, но пока на пути — ни одного живого существа. Существо появляется на выезде из перелеска, и это не корова и не волк (Севка помнит про волков), а — человек.

Незнакомец заслоняется ладонью.

— Эй, хрена в морду светишь?!

Ладонь убирают, и Севка едва не вскрикивает: Бекас! А тот уже направляется к ним и, взглядевшись в лица, узнает Севку.

— Опять ты, пацан, под ногами крутишься...

Он пьяный и, похоже, злой.

— Мы корову ищем... — дрожащим голосом произносит Севка.

— Корову, бля... Я тоже кой-кого ищу!

Он вынимает финку и, как в прошлый раз, вертит в пальцах.

— Разобраться хотел с одним... Только сбежал летчик. Смылся!

Севка прижимается к брату — ну вот, теперь их точно убьют! Вместо сбежавшего летчика! Но Генка не торопится убивать, он просит закурить, и Кеша (ну и ну!) достает из кармана пачку и протягивает Бекасу.

— С фильтром, надо же... Две возьму!

— Бери три, — говорит Кеша, тоже напуганный. Генка прикуривает, после чего говорит:

— Ну что ж, смылся, и хорошо... Мне же легче.

Когда Бекас удаляется в темноту, Кеша глушит мотор. Он тоже пытается закурить, да спички ломаются, получается лишь с третьего раза. Сделав несколько жадных затяжек, брат молчит, затем заявляет, что мог бы этого Генку уделать — он же боксом занимается. Запросто мог бы, да руки марать не хочется. Севка не верит Кеше (мог бы — уделал бы!), но молча кивает, чтобы голосом не выдать испуг. А братец продолжает выпендриваться:

— Это он из-за Людки злится, я знаю! Мне Нинка рассказала, что на нашей улице живет.

— Конопатая такая? — уточняет Севка.

— Ага.

(Значит, все-таки Нина.)

— Она же за женатиком бегает, Людка твоя! — хихикает Кеша. — Втюрилась по самые уши, даже с парашютом прыгала, чтоб ему понравиться! Вообще-то Нинка сама глаз положила на этого женатика, только он Людку выбрал. Да не просто выбрал, а даже... Хотя ты малявка еще, рано тебе об этом знать!

Он гасит ногой окурок.

— Про курево родичам не трепись, хорошо?

Трепаться Севка не будет. Но ему не нравится, как Кеша говорит про Люду, и еще хихикает противно, даже хочется скинуть его с сиденья, когда отправляются в путь.

Езда вдоль железной дороги результата не приносит. Доезжают до переезда со шлагбаумом, и тут удача: возле будки стоит Машка, привязанная к перилам! Кеша жмет сигнал, и вскоре из будки появляется обходчик в форменной тужурке и фуражке.

— Ваша? Тогда забирайте... — он похлопывает Машку по загривку. — Умная

животина! Она ж через насыпь перебралась, а обратно взобраться — не смогла, там круто очень! Так сюда пришла, к поезду... Все, ведите домой!

Переживания, наконец, отпускают, ведь Севка сейчас — победитель! Ну да, Кеша тоже победитель, но вести Машку все-таки доверено ему, и он ее ведет, торжественно, слегка переживая лишь из-за того, что его не видит Люда. Дома его, понятно, ждет триумф и полное снятие наказаний. Пусть только попробуют шпынять, он же всех спас от голода, кормилицу вернул! Севка вводит корову на двор, закрывает ворота и спешит в дом.

Дома на удивление тихо. Все сидят по углам, как пришибленные, прячут глаза и почему-то совсем не радуются Севкиному рассказу. А тот разливается соловьем, живописуя их приключения. Иногда он оборачивается к брату за подтверждением: ведь правда, Кеша, так и было? И очень удивляется, когда мать вдруг притягивает его к себе и гладит по голове. На макушку что-то капает, Севка поднимает голову и видит ее наполненные слезами глаза.

— Ты чего, мам?! Все нормально, я же вернулся!

— Вот и хорошо, что вернулся... Вот и хорошо...

А дед, какой-то согбенный, старый-престарый, поднимается и бредет в свою «светелку».

— Не уберегли девку... — слышно бормотанье. — Эх, грехи наши тяжкие...

Точно помнится: в тот вечер ему ничего не рассказали. Кеше — да, рассказали по-тихому, потому он и засуетился, вознамерившись быстрее уехать, по сути — сбежать из дома, где темным облаком повисло горе. Молодость не жалуется смерти, она вся нацелена на то, что маячит впереди (то есть на долгую и счастливую жизнь), потому родные долгое время и замалчивали подробности. Взрослые щадили юное сознание, да и самих эти воспоминания не радовали. Вскоре сдвинулись дела с квартирой, родителям выдали ордер, и приятные хлопоты отодвинули в сторону то, что произошло на вечернем пруду.

Много позже, когда он узнает правду, эта странная рифма (пруд + пруд) будет волновать и не давать покоя. Там, где он спасся — точнее, где его спасла Люда, — оборвалась ее жизнь. И хотя вникать в детали уже вряд ли имело смысл, он все-таки будет расспрашивать родных, восстанавливая не до конца понятную картину. К ней вроде завалился Генка, пьяный в хлам, с предложением выйти за него замуж. А Люда, как ни странно, согласилась — при отце и матери дала согласие. «Только погодите, — сказала, — сбегаю кой-куда!» Усмехнулась своей загадочной усмешкой, накинула платок — и выскочила вон. И вот они сидят, ждут, папаша с Генкой уже по стакану выпили, когда хозяйка дома, чьи окна на пруд, прибежала с причитаниями: «А ваша-то утопла!» Мужики взялись нырять возле камышей, вытащили, откачивать стали, да — поздно...

Спустя годы история окажется погребенной под грузом новых событий и впечатлений. Севка будет взрослеть, станет Всеволодом; уехав в другой город, конечно же, забудет обещание «не влюбляться» и, как и многие, набьет шишек на этой ухабистой дороге. Лишь изредка будут вспоминаться погожие летние дни, когда за ним, малолеткой, присматривала девушка в голубом сарафане и защищала от уличных врагов. И всегда на душе будет оставаться печальное недоумение: да, можно кого-то обвинить (и было, кого!), только разве от этого легче? Потом и остальные свидетели тех событий начнут уходить, перемещаясь на кладбище, что за аэродромом. А сам поселок окажется стертým наступающим городом, будто огромным ластиком: исчезнут дома, пруд, лес, выпасной луг, на их месте прорастут многоэтажки, землю покроет асфальт, и тут забурлит совсем другая жизнь. От прежней жизни ничего не останется, разве что ветер, что кружит тополиный пух, пролетая вдоль улиц и домов, и в чьем шуме чуткое ухо может различить негромкие слова: «Положи меня, как печать, на сердце твое, ибо крепка, как смерть, любовь...»